

КАК НАС ЛИШИЛИ ПОСЛЕДНЕЙ НЕВИННОСТИ

Я свалился в Англию и в 1968 год будто с другой планеты: я не узнавал своей родины и плохо ориентировался во времени. Шестидесятые годы проходили для меня так же незаметно, как погода на улице для зародыша во чреве матери. В первые годы этого вольнолюбивого и волнующего десятилетия я учился в Кембридже, где допотопные порядки и самодовлеющее мироощущение университета почти не менялись. Я, конечно, читал в газетах о культурном перевороте, происходившем в Лондоне, но в Кембридже — всего в девяноста километрах от столицы — эти веяния совсем не чувствовались. Потом, не всплывая на поверхность мира, я уехал прямо в полуколонизальную Австралию, застрявшую в тридцатых годах. Там таможня конфисковала те мои книги, которые на родине только что вышли из опалы, — я лишился «Улисса» Джеймса Джойса и «Любовника леди Чаттерли» Дэвида Герберта Лоуренса. В Квинслендском университете по-прежнему запрещали профессорам преподавать авторов гомосексуальной ориентации (кроме древних греков) — об Андре Жиде говорили только шепотом. В городе Брисбен жеманные хозяйки надевали белые перчатки перед выходом в магазин за продуктами.

Вернувшись в Англию 1968 года после трехлетнего отсутствия, я был потрясен так, будто меня разбудили: кончился многолетний сказочный сон. В книгах печатали непечатное, в театрах играли нецензурное. Казалось, традиционные, строго разграниченные английские сословия смешались: лондонские гангстеры с чудовищными рожами выпивали в компании почетных политиков со срезанными подбородками; вялые аристократы совокуплялись со здоровенными рабочими (в любом сочетании полов). Христианство не то отступило, не то стусевалось, нравственность, если она существовала, стала какой-то неопределенной, таитянской. Куда исчезли тот снобизм, тот цинизм, то чопорное лицемерие, которые раньше придавали английской жизни ее знаменитый порядок и удушливое спокойствие? А главное, стало можно одеваться по настроению. С тех пор в Англии очень трудно отличить «по одежке» профессора от бомжа, Золушку от принцессы. Как объявил один журнал мод: «Мода умерла, да здравствует одежда!»

Над всем этим мнимым и сумбурным раем веял густой дым из трубки вождя лейбористов Гарольда Вильсона. В первый раз за очень долгое время у нас появился премьер-министр не пьяница, не развратник, не невзрачный, а с любящей женой, которая писала милые, даже грамотные стихи. Добрый, мягкий Вильсон не умел прогнать негодных министров: его кабинет состоял исключительно из интересных, трогательно не соответствующих роду своей деятельности людей. Неистовый, почти неменяемый Тони Бенн, бывший лорд, который отрекся от своего титула и стал крайне левым и пацифистом, теперь заведовал производством плутония для водородных бомб. Джордж Браун, который пьянством и грубостью шокировал даже советских собеседников и обезоруживал растерявшегося Вильсона своими постоянными угрозами подать в отставку, ведал иностранными делами. Рыжая безудержная Барбара Касл, которая не умела водить машину и с трудом владела собой — настоящая смесь огня с перцем, — была министром транспорта. Социализм с подобием человеческого лица, как кастрированный кот, улыбался нам и мурлыкал.

Как моряк, попавший на тихоокеанский остров, я нашел, что на моих глазах этот невинный рай портится с ужасающей быстротой. Рабочие зарабатывали лучше чем когда-либо — они бастовали. Студенты получали щедрые стипендии, а любой умный старшеклассник имел доступ в университет — они бунтовали и нападали на полицейских лошадей. Но существовали и более веские причины для недовольства. Миролоубивое правительство было уличено в кровопролитиях нигерийской гражданской войны: миллионы в Биафре гибли из-за нашей нефти. Продажа истребителей и боеприпасов африканским палачам, однако, не спасала нашей экономики, которая страдала от щедрости Вильсона и шантажа профсо-

юзов. Деньги обесценивались, как Вильсон ни уверял, что фунт стерлингов в нашем кармане остался неизменным. Мы оказались не такими уж дураками. Ему перестали верить. Пародисты начали издеваться над акцентом и нелепым витийством Вильсона. Обещанный рай испарился. (Гарольд Вильсон, заживо изгнанный из этого рая, уже потерял доброе имя и политическую трезвость, которыми он тогда так гордился,— его давно постигла суровая кара за самоуверенность,— он оказался на обочине наших политических интересов. Но последующие двадцать лет заставили нас переоценить и даже полюбить его: мы поняли, что легче было жить с лисой, чем с волками и собаками.)

Наши чуткие романисты с самого начала 1968 года прозрели и увидели, говоря словами английской гувернантки, что «все это кончится слезами». Среди английских писателей самым прозорливым оказался Энтони Пауэлл. В 1968-м появился его роман «Военные философы», девятый в цикле «Музыка времени». Я-то в те времена еще не дорос до Пауэлла, да и не все критики умели его оценить. Сейчас нет сомнения, что писатель давно понял, в чем истинная суть английской терпимости и кажущейся доброжелательности: в неумении любить, в тупом безразличии, в мертвецкой холодности к родным и к чужим. В новом романе Пауэлла, как во всех предыдущих и последующих этого цикла, выступает зловещий пошляк Кэннет Уидмерпул. Уидмерпул, этот комический антигерой, английский родственник Фомы Фомича, украдкой или открыто поднимается по общественной лестнице и начинает смертельно давить всех соперников своими интригами, своим неприятием иной личности. В девятом романе Пауэлл впервые создал героиню, супругу, достойную Уидмерпула, хладнокровную нимфоманку Памелу Флиттон, которая дразнит своих любовников и доводит до самоубийства, разрушая их самоуверенность, их иллюзии и творческие силы. Как Диккенс, Энтони Пауэлл чуял то бессердечие, которое прячется под вежливыми манерами британских властей предержавших. Цель Памелы Флиттон — создать ад для мужчин, а Уидмерпул воплощает собой какую-то неумолимую Волю в шопенгауэрском смысле. Наша ошибка тогда была в том, что в жизни мы их еще не раскусили и думали, что Памела является какой-нибудь райской пери, а Уидмерпул — мудрым мандарином.

Как все талантливые писатели, Пауэлл не сумел удержать своих выдуманных героев в рамках выдуманного им мира, они постепенно вылетали из романа и воплощались в жизнь. Например, умный и очаровательный журналист Ким Филби оказался полковником КГБ; прелестные новые актрисы и певицы, жрицы любви, вдруг превратились в «акул империализма».

1968 год прошел в Англии гораздо спокойнее, чем во Франции, в Германии или в США, не говоря уж о Праге. Но везде на Западе молодежь, особенно учащаяся, заподозрила своих родителей, правителей и преподавателей в лицемерии. Сомнительный и, увы, бессмертный Уидмерпул, Мефистофель в сером пальто, только подтверждал собой то, что молодые люди уже подозревали. Молодые англичане не умели выразить недоверие к своим правителям так четко, как до них выражали свое негодование «сердитые молодые люди» пятидесятых годов. В Германии, однако, непримиримая творческая молодежь заранее предупреждала учителей жизни, померкших светочей, о готовящемся в 1968 году погроме. Возьмем, например, стихи «Бедная свинья» Ф. К. Делиуса, в которых молодые поэты расправляются с пожилым критиком:

В два часа ночи мы штурмовали дом
Знаменитого критика. Тот еще сидел и работал,
Но сразу вскочил с облегчением и
Поднял руки вверх. Он смотрел, довольный,
Разыгрывал разоружение, когда мы его книги
Укладывали в корзины для грязного белья,
А он не вмешивался. Мы вспомнили его возбуждение
От «Китайки» и поэтому оставили ему
Маяковского и Брехта. Он уже доставал вино
Из погреба. Когда мы его пластинки
Уносили, он просто сказал, он не хочет
Больше слышать о Бетховене, но вдруг стал настаивать,
Чтобы оставили Альберта Айлера. Мы согласились,

Что Айлер останется. Мы танцевали с его женой.
 Она пригласила нас в кухню, мы вежливо съели
 Деликатесы. Потом он хотел нас
 Задержать с помощью виски. Уже рассветало, мы
 вытолкнули
 Сволочь на улицу, ведь он хотел стать с нами на «ты».
 Мы сочли, что он зашел слишком далеко.
 Вот так мы совершили еще одну ошибку.

В Англии молодежь пока не так остервенела, наоборот, старшему поколению надоело младшее: атаку начали старики. Самый мрачный из наших поэтов, Филип Ларкин, хмурился в университетской библиотеке захолустного города Халл в Северной Англии. Он уже давно скис. Он был широко известен своим выпадом против одного коллеги, который стоял вместе с ним под дождем в очереди на автобус: «И не думайте, что вы можете стоять под моим зонтиком!» Со студентами он совсем не разговаривал; он смотрел на них с отвращением и с завистью, сравнивая беззаботные вакханалии современной молодежи с собственными еще не забытыми сексуальными мытарствами: «Половые сношения / Начались с тысяча девятьсот шестьдесят третьего года. Чересчур поздно для меня». Уже в 1968 году Ларкин выдумал своего молодого посмертного критика, возненавидел его (и в то же время пожалел):

Джек Балоковский, мой биограф,
 Читает эту страницу с микрофильма. Он сидит
 В своей келье с кондиционером в университете Кеннеди
 В джинсах и в полукедах. Зачем ему скрывать
 Легкое недовольство своей судьбой?
 «На год, если не дольше, мне навязали этого старого
 пердуна...
 Одного из тех старомодных, с рождения искалеченных
 типов».

С каждым месяцем в этот чувствительный год вонь от «старых пердунов» становилась все невыносимее. Дым из трубки Гарольда Вильсона душил нас. Сговорчивость, прагматизм и угодливость премьер-министра, оказалось, не отличались от цинизма и полного отсутствия каких-либо нравственных устоев предыдущего правительств консерваторов. Надо помнить, что английский социализм уходит корнями не в безжалостный марксизм, а в милосердное протестантское христианство. От консерваторов мы спокойно принимали как должное наглую ложь и разврат, вроде бы неприемлемые от наших социалистов.

В начале года мы узнали, что тот напалм, которым американцы заживо сжигали вьетнамских детей, есть в запасе и у нас и что нервно-паралитический газ «си-эс» готовят на одном из наших правительственных тайных полигонов, Портон Даун, и потом вывозят в США и в Нигерию, чтобы генерал Говон мог продолжать истреблять народ ибо. Напрасно лейбористы отменили смертную казнь и телесное наказание, ведь они все еще отправляли в ЮАР для тамошних палачей конопляную веревку и розги. Лейбористы готовили новые законопроекты, разрешающие аборт и даже содомию, но в их принципиальность уже мало кто верил. Наши пограничные пункты больше не уважали традиционной свободы передвижения. Один депутат нарочно отправился в Португалию без паспорта, как любой англичанин сто или двести лет назад — его задержали и не пустили в самолет. Вдруг вспыхнуло возмущение. Даже самый красный революционер, немец Даниэль Кон-Бендит, вызвал сочувствие английской публики, когда тогдашний министр внутренних дел Джеймс Каллахан запер для него границы. Наша свобода в самом деле оказалась призрачной.

Консерваторы-оппозиционеры вели себя еще хуже. Энок Поуэлл, самый образованный из них, профессор речевого языка, будто сошел с ума: он пророческим голосом предсказал, что скоро кровь потечет в крупных городах Англии из-за прироста черного населения. Консерваторы, зазывавшие в пятидесятые годы черных с карибских островов в Англию на рабочие места в больницах и на транспорте, теперь объявляли себя расистами. Кто-то раскопал ранние стихи Энока Поуэлла, и стала различима вонь его фашизма:

Я ненавижу некрасивых, ненавижу старых,
Ненавижу хромых и слабых,
А больше всех я ненавижу мертвых,
Которые лежат так тихо в постели из земли
И никогда не смеют воскресать.
Я люблю только сильных и смелых,
Мерцающий глаз, краснеющую щеку,
А больше всего я люблю огонь
Молодых ног, вид которых возбуждает желание,
Но никогда не удовлетворяет.

К беспринципности министров иностранных и внутренних дел прибавилась безалаберность лорда-канцлера, министра финансов. Постоянный рост доходов среднего англичанина сокращался. Несмотря на социалистическую уравниловку, в Англии бедные становились беднее, богатые — богаче. К тому же догматики в министерстве народного образования с азартом разрушали старую систему государственных лицеев и реальных школ, а взамен насаждали сплошную халтуру, так что только богатые могли давать детям хорошее образование. Постепенно создавался тот опасный для властей союз, который раньше считали в Англии невероятным и только во Франции возможным,— союз рабочего со студентом.

В июне журнал «Оккультные новости» объявил своим читателям (и их было несколько тысяч), что Гарольд Вильсон не человек, а бог. Это было началом политической гибели Гарольда Вильсона; как римский император, он с каждым месяцем терял человеческий облик. Даже его разведка МИ-5 решила, что он советская креатура: наша тайная полиция благодаря сыску и дезинформации опозорила друзей и сообщников бедного премьер-министра.

В это время молодые и даже старые писатели обличали союз английских аристократов с международными плутократами как коренное зло. Популярный писатель Кингсли Эмис, считавшийся ранее веселым аморалистом, всех удивил, опубликовав роман «Вынь да положь», очередную комедию с необычным для себя нравственным уклоном. Во всех романах Кингсли Эмиса герой поражает бесстыдными поисками секса и алкоголя, которые заканчиваются громким скандалом. Учинив пьяный скандал, аспирант, заглавный герой романа «Счастличик Джим», разоблачает ханжу, профессора Уэлча. А в новом романе герой Ронни Эппльярд признается, что он сам — дерьмо, и охотится на героиню, отбивая ее у аристократа-отчима и у богатых американских женихов не только потому, что она красавица, но и потому, что она богатая невеста. Девушка Симона представляет собой тот тип женщин, который этнологи отыскали только в Англии, то есть фригидную нимфоманку, как Памела Флиттон у Энтони Пауэрла. Но в романе «Вынь да положь» герой-дерьмо действительно влюбляется и своей подлинной любовью лечит Симону от фригидности. Счастливый конец наступает только после того, как герой публично разоблачает ее богатых родителей по телевидению. Ронни благородно и всенародно втаптывает будущую тещу в грязь:

«Богатые отличаются от нас, и они хуже нас не потому, что они рождаются худшими, а из-за их возможностей, возможностей власти без ответственности. Пользоваться властью очень заманчиво. Спросите у любого политика. Слушайте, я бы и пальцем не дотронулся до ваших проклятых денег, хоть становитесь на колени и упрашивайте меня. Неужели вы думаете, что я согласился бы жить в вашем мире, когда я вижу, что из вас сделали деньги?»

Этот наивный, заискивающий роман пользовался большим успехом у публики: он проповедовал ненависть к богатым и поиски счастья посредством синхронного оргазма. Через двадцать лет, в старости, Кингсли Эмис стал женоненавистником и полностью разочаровался в такой простой постановке вопроса. В недавнем романе «Вещь Джека» герой примиряется с импотенцией и отказывается от курса лечения, который предлагают врачи и подруги, чтобы безмятежно и целомудренно доживать свой век.

А тогда, в 1968 году, Кингсли Эмис пытался сесть между двух стульев. С одной стороны, он льнул к молодым радикалам; с другой стороны, как ярый антикоммунист, он поддерживал американские интересы во Вьетнаме и с большой осторожностью относился к социалистам любой масти. Скандал разразился в сентябре, когда объявили голосование среди магистров Оксфордского университета по

кафедре поэзии. Кто-то выдвинул кандидатуру Евгения Евтушенко. На Евтушенко обрушился Кингсли Эмис вместе с поэтом-историком Робертом Конквестом, недавно опубликовавшим свой капитальный труд о сталинизме «Большой террор»; их поддержал самый влиятельный фельетонист газеты «Таймс» Бернард Левин. Кингсли Эмис обвинил Евтушенко в двурушничестве, в преследовании Синявского и Даниэля и еще в том, что Евтушенко будто бы послал Брежневу телеграмму, одобряющую оккупацию Чехословакии. Весь Оксфорд смутился, но только коммунисты доказывали, что Кингсли Эмис оклеветал и скомпрометировал Евтушенко. Тот так и не стал профессором поэзии, но все-таки остался хоть сколько-нибудь поэтом. Кингсли Эмиса сочли реакционером, несмотря на безудержный приапизм.

Почти все английские романы, гремевшие тогда, а сегодня потонувшие в забвении, были озабочены сексом. Даже религиозно настроенная Айрис Мердок в книге «Милые и хорошие» построила сложную фабулу на перетасовке совокупляющихся персонажей. В Америке Джон Апдайк подал пример «Супружескими парами», где все десять буржуазных семейств в одном маленьком американском городке заняты только адюльтером. В 1968 году единственным художественно удачным сочинением такого типа был роман Дж. П. Донливи «Бестиальные блаженства Балтазара Б.». Донливи, гениальный полуамериканец-полуирландец, заливал читателя своей безбрежной фантазией. Несмотря на свое богатство, на свое торжество над ханжеством и хамством власть имущих и на счастливые похождения с отзывчивыми ирландскими девушками, герой романа Балтазар Б. подвергается истинно религиозному испытанию. В конце концов умирает его невеста, любовница убегает, и Балтазар уезжает из Англии, «прежде чем темнота или другие люди тебя застигнут. Застигнут тебя в твоём приюте. Как все сердца. Взволнованным, одиноким. С тихими глазами. У холодных вод. Где грусть подстерегает тебя так глубоко. Это заставляет тебя не двигаться».

Донливи из проповедника сексуальной эмансипации превратился в ветхозаветного Иеремию. Молодежь уже чуяла, что пилюля освободила только от физических последствий свободной любви, а с духовными последствиями она еще не умела справляться. Нужно было заниматься делом. Женский журнал «Нова», затрагивавший такие темы, которых периодика для мужчин избегала как чумы, вдруг в сентябре 1968 года предложил на обложке очередную знойную манекенщицу со змеиной фигурой в алом брючном костюме. Но в этот раз она с закрытыми глазами прислонилась к стене, и вся страница была занята текстом:

«Я принимала пилюлю, я вздернула юбку до бедер, я спустила юбку по щиколотки, я взбунтовалась в университете, я обругала американское посольство, я жила с двумя мужчинами, вышла замуж за одного, я зарабатывала свой хлеб, я сохранила свою личность, а откровенно говоря, я заблудилась».

Армия Спасения обрадовалась и воспроизвела эту жалобу на страницах своего журнала «Боевой клич». На глазах сектантов язычники признавались в своем отчаянии, в нравственном банкротстве, в жажде спасения. Поиски счастья должны были пойти по другому пути.

От сытости до тошноты всего один шаг. Уже в начале года британские суды махнули рукой на цензуру: запрещенные книги свободно продавались. Одной из самых известных запрещенных книг был тошнотворный шедевр Хьюберта Селби «Последняя вылазка в Бруклин». Роман вызвал всеобщее возмущение особенно одним замечательным эпизодом, в котором шайка бродяг на пустыре до смерти затрахиивает идиотку-шлюху. Судьи обсудили этот эпизод и убедились, что такая порнография неизбежно должна оказывать хорошее влияние на всякого читателя. От подобных описаний безудержной похоти любой читатель отвернется и захочет прямо в монастырь. Судьи также решили, что и «Голый завтрак» Уильяма Берроуза никого не может развратить ни своим наркоманством, ни своей гомосексуальностью, а скорее отвратит самого развращенного читателя от греха, даже если он стоит на краю пропасти.

В том же году последний и самый нелепый из королевских чиновников, лорд-камергер, потерял свою двухсотлетнюю власть над театральным репертуаром. Раньше он имел полное право запрещать драматургам представлять на сцене даже сумасшедшего прадеда королевы, Георга III. Теперь драматурги

судились с ним и довели его ископаемость до такого абсурда, что правительство второпях отменило эту должность. В театре можно было впервые смотреть на совершенно голых актрис и актеров, возьмите, например, музыкальную пьесу «О! Калькутта» Кэннета Тайнена. В пьесе Эдварда Бонда «Спасенные» можно было видеть, как мальчики камнями убивают младенца (но надо признать, что у Толстого в пьесе «Власть тьмы» убийство ребенка вызывает гораздо больше ужаса, чем у Бонда).

В мире художников, однако, даже весной 1968 года иллюзий было мало. Когда мы смотрим на человеческое тело, каким его представляют Фрэнсис Бэкон или Лусиен Фройд, мы не видим никаких следов той радостной чувственности, которой восхищались наши поэты и романисты. Бэкон еще дальше закручивает адски порочные фантазии Иеронима Босха, а у Фройда одалиски своими мышцами и кожей иллюстрируют целую эпопею душевных мучений и телесных лишений. Знатоки должны были признать, что Бэкон и Фройд являются настоящими летописцами нашего времени. Тем не менее английский обыватель еще не украшал своей гостиной такими репродукциями. Ему больше по душе пришлось холеная плоть и безоблачное освещение гладких голливудских и нью-йоркских фокусников Роя Лихтенштейна или Дэвида Хокни.

Строптивому художнику в своей мастерской, особенно если он в поисках солнца добровольно сослал себя в Марокко или Грецию, было легче, чем писателю или журналисту, уединяться от притеснений моды или спроса заказчиков и начальства. «Он отвык от фраз и прячется от взоров». Средствам массовой информации, однако, так и не удалось освободиться от бюрократических ограничений. Пока на короткое время государство держало телевидение и радио в узде. Цензура смягчалась, но не уходила. Журналист-обличитель должен был сначала бороться со своим продюсером, а потом с «козлами» из какой-нибудь «ассоциации слушателей», блюстителями нравов и порядков, вполне способными оплатить расходы частного иска и не раз привлекавшими к суду составителей особенно интересных программ. Впрочем, чем жестче и смелее становились тележурналисты, тем искуснее и ловчее наши политики учились изворачиваться на интервью. Тот, кто видел, как Маргарет Тэтчер справилась, как ящерица с мухами, с бедными московскими журналистами на интервью в «Останкино», поймет, какую хорошую школу прошли с тех пор английские политики. Ненависть и разочарование, однако, развели телевидение: самые лучшие пьесы и репортажи утекали из театров и газет в более эпизодический, но лучше оплачиваемый мир телевидения. Превосходство английского телевидения, можно сказать, нанесло тяжелый удар английской литературе и даже грамотности вообще. Тот факт, что литература и театр уже безвозвратно вышли из-под правительственной опеки, не помог им выжить. В любом случае почти полное освобождение литературы и театра от внешних ограничений кончилось тем, что интеллигенты отвернулись от литературы и театра и начали пробовать свои силы на улицах.

Чтобы оторваться от телевизоров, снять тапочки и выйти на улицу после сытного праздничного ростбифа, флегматичные англичане нуждались в очень сильном толчке. Им стал выстрел в Америке. Второе убийство Кеннеди — не Джона в Далласе, а Роберта в Лос-Анджелесе — убедило их, что силы реакции не остановятся ни перед чем, чтобы отстоять свои позиции. Они поняли, что стыдно просто смотреть на все это разрушение по телевидению. Убийство Роберта Кеннеди по сравнению со вторым браком Жаклин Кеннеди, решившей унизиться до такой степени, что она вышла за Онассиса, было еще большей изменой. Трудно теперь представить себе Роберта или Джона Кеннеди настоящими радикалами: мы знаем об их роли во вьетнамской войне и об их связи с мафией. Но тогда братья Кеннеди еще были символами идеалистически настроенной молодежи. После Роберта Кеннеди был убит Мартин Лютер Кинг. Можно было поверить в постоянный заговор истеблишмента против всех идеалистов. (Конечно, тогда мало еще знали о недостатках Мартина Лютера Кинга и видели в нем только идеалиста и идеал.) Заключительным ударом, разочаровавшим американофилов, стал разгром молодежных выступлений осенью в Чикаго, когда полиция по приказу мэра Ричарда Дели беспощадно избивала и протестующих и зевак на политических митингах.

Уже полвека английская культура слепо подчинялась влиянию своих заморс

ких кузенов, в то же время жалуясь на потерю первенства в англоязычном мире. В 1968 году скрытый антиамериканизм воспламенился. С 1942 года, когда американские солдаты впервые появились в большом количестве на английской земле, мы, англичане, ревновали к ним наших дочерей и жен и завидовали их богатству, аппетитам и отсутствию тормозов. Впервые за тридцать лет эта антипатия проявилась открыто: произошли беспорядки в центре Лондона. Перед американским посольством в Гроувнорском сквере демонстрация против вьетнамской войны превратилась в восстание. Людей подняла не столько солидарность с вьетнамскими крестьянами, сколько давно кипевшее раздражение от десятилетий американского культурного и политического господства. Демонстранты забрасывали камнями и калечили полицейских лошадей и тем возмущали английскую публику, которая любит собак и лошадей еще больше, чем своих душек-полицейских.

Беспорядки ширились. Когда правительство Вильсона должно было признать, что в наших университетских лабораториях химии и физики работают по договорам с американскими вооруженными силами, студенты приступили к более решительным мерам. В ста километрах от Лондона в хмурых гранитных башнях Эссекского университета сорок преподавателей и тысяча студентов откололись от университета и основали свое собственное, «свободное» учреждение. Ректор университета Дональд Дейви, хороший поэт, переводчик Пастернака и Мандельштама, неожиданно потерял самообладание. Он объехал на машине все дома преподавателей-раскольников, сунул в каждый почтовый ящик по ругательному письму, обвиняя своих коллег в предательстве и в коммунистическом уклоне, и затем надолго улетел в Америку. В других университетах произошли аналогичные расколы. Даже знаменитая Лондонская школа экономики взбунтовалась.

Какое-то время английское правительство опасалось, что бунтовщики, как во Франции и в Германии, расшатают власть до самых основ. Но у нас взрывчатого материала и минеров не хватило. (Даже в буквальном смысле, ведь прошло уже двенадцать лет с тех пор, как в Великобритании отменили обязательную военную службу: в отличие от Франции и Германии у нас среди молодежи почти никто не умел готовить «коктейль Молотова» или душить полицейского.) Во Франции и в Германии молодой красный еврей Даниэль Кон-Бендит восплалял толпу. Бунт поддерживали философы и писатели — Маркузе, Бёльль, — которые от тоски по прошлому обрадовались оживленной атмосфере и запоздалому появлению обожавших их учеников. В Англии выделялся только один революционер, левый социалист Тарик Али, вызывавший недоверие у рабочего класса, поскольку был пакистанцем. Наконец, нашим студентам не доставало внутреннего огня. Энтони Пауэлл в последнем романе «Услышав тайные гармонии» из цикла «Музыка времени» отлично понял, в чем суть дела. Уже в 1968 году (роман написан в 1975 году) всем ненавистный Кэннет Уидмерпул на краю смерти становится ректором провинциального университета. Две студентки обливают его алой краской; на вид он смертельно ранен, но Уидмерпул спокойно снимает очки и уверяет публику, будто рад, что может поздравить девушек с удачным попаданием. Пауэлл вспоминает чье-то наблюдение:

«В Англии студентов не бывает, разве только медики или художники. Наши студенты не имеют ничего общего с заграничными студентами — с теми молодыми людьми, которые вечно бунтуют, готовят покушения на жизнь политиков, свергают правительство».

Англичане сначала со злорадством отнеслись к тому, что студенты творили во Франции в мае 1968 года. Генерала де Голля недолюбливали за неблагодарность: во время войны он держался в Лондоне с гордой недоступностью и открыто презирал англичан. Наконец, когда премьер-министр Гарольд Макмиллан умолял Европейское экономическое сообщество принять и Великобританию в его члены, де Голль ответил суровым вето. Теперь, когда рабочие автомобильного завода Рено слились со студентами, заняли Париж и парализовали всю страну, требуя отставки де Голля, мы испытывали скорее радость, чем страх. Напрасно де Голль давал интеллигентам министерские посты: Аллен Пейрефит, как Андре Мальро, сразу дискредитировал себя. С чудовищной самоуверенностью де Голль и Помпиду улетели: президент — в Бухарест, министр — в Кабул. Папенькины сынки не унимались и фактически овладели Парижем. Французская буржуазия ощерилась — пожилые дамы кричали на студентов: «Кон-Бендита в печь, Кон-Бендита в

Дахау». Парижская полиция озверела, избивала не только студентов, но и тех, кто их защищал, даже «скорую помощь». В Париже умирали на тротуарах, в подъездах и на больничных койках. Вдруг спектакль превратился в трагедию. Ту Европу, которая воскресла из-под развалин старого мира, казалось, опять похитил разъяренный бык. Наше злорадство в отношении к французскому распаду переходило в сострадание. Но вскоре в Париже чопорные коммунисты не то испугались, не то получили инструкции из Москвы: они порвали со студентами, и рабочие помирились с фабрикантами. К каникулам революционная волна стихла.

Так же как во Франции, в Германии буря студенческого восстания, которую подняли скучающие поэты и романисты, разгулялась под ударами и выстрелами ожесточенной полиции. Вдохновенный вождь студентов Руди Дучке был ранен в голову и долго лежал в смертельной опасности. Бешенство властей и оппозиции сменилось стыдом.

В результате всего испытанного наивное взаимное доверие политиков и интеллигентов исчезло. Мы все наконец поняли, что наши политики говорят правду и соблюдают гуманитарные правила, пока могут удержать власть без лжи и без насилия. После 1968 года, видя, как политик говорит по телевидению, я, подобно большей части моих современников, всегда задаю себе один вопрос: почему эта сволочь меня обманывает?

Наши впечатления от французских и немецких событий, конечно, затмила пражская трагедия. Сомнений не было, что студенческая смута на Западе была тесно связана с «пражской весной». Когда молодые немецкие туристы в Праге кричали: «Вива Дубчек», — чешская молодежь дружно отвечала: «Руди Дучке», — возвышая жертву немецкой полиции до настоящего мученика. Англия всегда чувствовала себя виноватой перед чехами. В 1938 году Чемберлен отдал их Гитлеру, оговариваясь, что Чехословакия — далекая страна, о которой мы знаем мало. Какая ерунда! Ведь Томаш Масарик долго преподавал философию в Лондонском университете, а английский историк Ситон-Уатсон принимал активное участие в определении границ нового государства. В сороковых годах Черчилль безмолвно уступил Сталину судьбу чешского народа. «Пражская весна» нас поэтому волновала. Наши правые, например новоиспеченный толстовец Малькольм Материдж, относились с подозрением к Дубчеку, как к очередному аппаратчику. Наши левые обвиняли Дубчека в том, что он подрывает безопасность славянского старшего брата и продает свою страну бывшим оккупантам. Тем не менее наивное лицо Дубчека, храбрый клуб репрессированных K-231, чудесные, бесстрашные фильмы Милоша Формана очаровали нас. Нам казалось, что возможность «социализма с человеческим лицом» скоро привлечет внимание Брежнева и Косыгина, как она манила венгров и румын. Как мы смеялись, когда одна чешская старушка написала в нобелевский комитет и попросила присудить коммунистическому президенту Чехословакии Антонину Новотному нобелевскую премию по медицине, «потому что ему удалось пересадить сердце народа в задницу СССР». Единственно правильным (но случайным) оптимистическим выпадом было уверение одного комментатора, что «Дубчек доживет до того дня, когда его идеи похоронят неприятеля».

Как миллионы англичан, я точно помню, где я был, когда вдруг услышал по радио, что русские танки вошли в Прагу. Был жаркий августовский день в саду, и я просто не поверил своим ушам. Остатки последней политической невинности смыло. Меня затошнило. В Лондон только что прилетели директор московского зоопарка, который с трудом отличал гиппопотама от носорога, и главный орнитолог зоопарка с гигантской пандой Ань-Ань, звездой московской коллекции. Я тогда служил в зоопарке переводчиком. Гости очаровали лондонцев, хотя озадачили директора лондонского зоопарка тем, что отказывались от спиртных напитков и все трое (и панда!) отказывались от предлагаемой им женской компании. Газеты заразились пандоманией, обсуждали, как уговорить нашу застенчивую и целомудренную панду Чи-Чи спариться с русским самцом. К сожалению, Чи-Чи была влюблена в своего зрителя и на вежливого русского жениха не обращала внимания. Но чешские события испортили все дело. Ань-Ань вдруг оказал-

ся в глазах публики и печати насильником, московских зоологов выдворили из одной лондонской гостиницы в другую, и через месяц пандовская дипломатия окончилась крахом.

Легкость, с какой силы Варшавского договора подавили чешскую весну, и быстрота, с какой коммунисты пражских заводов отомстили студентам и интеллигентам, удручали нас. В журнале «Нью стейтсмен» перепечатали старые стихи Осберта Ситуэлла. Первоначально Ситуэлл написал эти стихи как протест против британской интервенции в большевистскую Россию. Теперь в этих стихах наше отчаяние в связи с судьбой Чехословакии нашло ироническое выражение:

Они очень ошибаются,
Что защищаются.
Они не должны обладать
Ни оружием, ни боеприпасами.

Мы не понимаем,
За что они борются.
У них нет богатых,
Нет частной собственности.

Мы очень хотим
Прийти к компромиссу,
Но сначала они должны
Уступить по всем пунктам.

Лишь католическое меньшинство в Северной Ирландии вынесло из пражских событий положительный урок. Католики решили больше не терпеть, чтобы «окупанты» семнадцатого века, протестантское большинство, так цинично помыкали ими, лишая их хорошей работы, доступа в университет, благоустроенных домов. Подпольная Ирландская республиканская армия поистине воскресла, и бесконечная кельтская племенная кровная месть обострилась в 1968 году. Британская армия, сначала как медиатор, а вскоре как оккупационная сила, вмешалась в конфликт. Уязвленные чувства, подавлявшиеся полвека, воплотились в бесцельное насилие. Появилось поколение молодых ирландцев (с примесью «обкельтившихся» молодых англичан), одолеваемых психопатологической потребностью истреблять друг друга. Неизлечимая ирландская язва 1968 года до сих пор подрывает политическое здоровье Британского государства.

А «на материке» вооруженное сопротивление являлось лишь плодом глупой фантазии. И чтобы мы это до конца осознали, к концу 1968 года прошел один из самых лучших (а хороших тогда было вообще очень мало) английских фильмов — «Если...» Линдсея Андерсона. В типичной старинной «публичной» (то есть, по извращенной английской семантике, частной) школе мальчики перестают терпеть лицемерие и жестокость своих учителей. Они готовят восстание и крадут из кадетского арсенала ружья и пулемет. Переход от мальчишеского озорства к кровавой перестрелке у Андерсона до того убедителен, что не замечаешь, как фильм уходит из действительного мира в вымышленный.

Начальство подавляет бунт, порядок восстановлен. Во всяком случае, все это было только «если бы». Молодежь и начальство примирились с мыслью, что ни у кого нет мужества жертвовать собой или хотя бы своим комфортом ради справедливости. Американцы могли спокойно бомбить Лаос, русские могли сделать из чехословацкого правительства очередной балаган, и наши публичные школы до сих пор делают из нормальных мальчиков каких-то вечных недорослей, эмоциональных калек. 1968 год послужил горьким уроком, что не мы, а Провидение заведует историческим процессом и что в Эдем обратного пути пока не будет.

Ни с помощью секса, ни с помощью бунта мы не могли найти выход из тупика. Даже музыка перестала звучать. В начале года мы еще восхищались «Битлз». Самая оригинальная из их композиций «Оркестр сержанта Пеппера для Клуба одиноких сердец» сочетала изобретательность серьезной музыки с навязчивыми ритмами популярных песен. «Битлз» как будто положили конец роковому разрыву между культурой элиты и культурой масс. Они стали не только символом подкупающе нахальной молодежи, но и новой эгалитарной музыки и радикального мышления. И вдруг, одной прекрасной ночью, «Битлз» объявили, что закрывают свою

фирму «Эплл» и бесплатно раздают публике все, что они продавали в фирменном магазине. (На самом деле этой же ночью агент «Битлз» подогнал к магазину большой грузовик и увез все ценное, так что публике подарили только самые дешевые товары.) С истинным новаторством в популярной музыке было покончено. На эстраду вернулся рок, любители серьезной музыки должны были довольствоваться такой мистификацией, как «Четыре минуты тридцать три секунды» Джона Кейджа, где пианист садится за фортепиано и ровно столько же времени бездействует. Музыка как искусство выродилась. Недаром в 1968 году запатентовали синтезатор «Моог», который не только подражает всем инструментам оркестра, но и «сочиняет» для них электронную музыку. Без второго Моцарта мы теперь без труда обойдемся.

Наши модные мыслители стали предлагать нам выход из тупика при помощи электроники. Жрец социологии Маршалл Маклюэн предсказывал конец печатной литературы и торжество электроники. Уже тогда намечался компьютер не просто как счетчик или картотека, а как пропуск в полноценный искусственный параллельный мир, с которым мы будем смыкаться всеми пятью чувствами. Сегодняшние дети, пригвожденные к компьютерным играм, как наркоманы к шприцам с героином, являются конечным и горьким осуществлением этого нового идеала. Но еще в 1968 году сатирик, драматург, романист (и переводчик Чехова) Майкл Фрейн догадался, что и этот путь заведет нас в болото. В романе «Очень частная жизнь» Майкл Фрейн вообразил маклюэнский мир «холовидения», где мы принимаем дозу «либидина» или «оргазмина», чтобы испытывать все радости любви или путешествия. Но герои романа, Суллио и Энкэмбер, недовольны и тоскуют по какому-то уже недоступному реальному миру. Любое моделирование реального мира оказывается жалким его подобием.

По всем традициям классического романа лишение последней невинности должно быть если не радостным обрядом, то положительной сменой вех. Но я не знаю никого из своих современников, кто с ностальгией или с благодарностью вспомнил бы шестьдесят восьмой и то горькое знание жизни, которое этот проклятый год принес с собой.

Дональд Рейфилд родился в 1942 году в Оксфорде, но учился в Кембридже и большую часть своей жизни работает в Лондонском университете (Квин Мэри энд Уэстфилд колледж) в должности профессора русского и грузинского языков. Он автор статей и монографий о Чехове, Мандельштаме и Пржевальском, но растрчивает свои силы на разные литературные и критические занятия — переводил стихи с русского и грузинского, составил из засекреченных стенограмм грузинского Союза писателей радиопьесу о гибели Паоло Яшвили (Русская служба Би-би-си). Он иногда читает радиоэссе для программы «Поверх барьеров» (радио «Свобода»). Он только что закончил книгу «История грузинской литературы» (от блестящего начала до грустного конца) и на следующие два года отдает себя двум новым исследованиям о жизни и творчестве Чехова.

Статья о 1968 годе написана по памяти. Мы знаем, до чего наша память способна обманывать нас, просто оговоримся: автору кажется, что тогда было так.

Автор благодарен Анне Пилкингтон за исправление разных стилистических и грамматических ошибок.

